Изложения 10-11 класс

СЕРИЯ
ШКОЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР



Изложения 10-11 класс



ИЗЛОЖЕНИЯ

10—11 КЛАССЫ

под ред. И. О. Родина

Ростов-на Дону
"Феникс"
2010

УДК 373.167.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
КТК 440
И 36

Составитель — Ежов-Строителев В. В.

Изложения. 10—11 классы / сост. В. В. Ежов-Строителев; под ред. И. О. Родина. — Ростов н/Д : Феникс, 2010, — 206 стр.

ISBN 978-5-222-15607-0

Данное универсальное пособие окажет неоценимую услугу не только учащихся средних и старших классов в процессе занятий по развитию речи и подготовке к изложениям. Пособия могут использовать в работе учителя и преподаватели вузов. Весь материал в книге дается в строгом соответствии с требованиями школьной программы и уровням знаний, необходимых для написания экзаменационных изложений при поступлении в вуз или среднее техническое учебное заведение.

Тексты подобраны так, чтобы учащиеся не только вырабатывали необходимые умения и навыки чтения, но, кроме того, познавали новое, а также знакомились с широким спектром художественных стилей и расширяли круг знакомых авторов.

Тексты и задания располагаются в соответствии с принципом постепенного усложнения материала: от текстов для средней школы до соответствующих уровню эмоционального изложения в вузе или среднем техническом учебном заведении.

© — Родин И. О., 2010

Об этой книге

Книга, которая лежит перед вами, замечательно в первую очередь тем, что в ней вы найдете самое большое количество специально подобранных текстов для изложений по сравнению со всеми другими аналогичными изданиями.

Изложение как вид задания представляет собой письменный пересказ предлагаемого текста и помогает овладеть всеми необходимыми приемами создания текстов. Предлагая вполне конкретное содержание, изложение, в отличие от сочинения, направлено исключительно на овладение техническими приемами письменной речи и не проверяет знаний по литературе. Однако, оно со всей наглядностью демонстрирует:

а) насколько человек владеет русским языком;

б) чувствует ли стилистику излагаемого текста и может ли ее адекватно воспроизвести;

в) может ли разбить текст на смысловые отрезки и вычленить главное, то есть те узловые моменты, которые составляют канву текста;

г) может ли воссоздать композицию предлагаемого текста, видит ли взаимообусловленность и логику расположения частей;

д) в состоянии ли спланировать свою работу по воспроизведению текста таким образом, чтобы при максимальной адекватности воспроизводимого текста на саму работу было затрачено столько времени, сколько его отводится для соответствующего вида работ в том или ином классе;

е) насколько богат словарный запас учащегося, каковы уровень его общего развития и степень образованности и насыщенности языка.

Работа над изложениями - важнейший этап подготовки к такому виду работ, как сочинение, так как, только овладев всем необходимым арсеналом приемов и методов, можно приступать к созданию собственных текстов.

Содержание и структура данного пособия находятся в полном соответствии с государственными программами для средних общеобразовательных учреждений, тексты располагаются в строгой последовательности.

Данное пособие окажет неоценимую услугу не только учащимся средних и старших классов в процессе занятий по развитию речи и подготовке к изложениям. Пособия могут использовать в своей повседневной работе учителя школ и преподаватели вузов.

Тексты подобраны так, чтобы учащиеся не только вырабатывали соответствующие умения и навыки, но, кроме того, познавали новое, знакомились с возможно более широким спектром художественных стилей, узнавали имена новых авторов, которые бы смогли их заинтересовать и подвигнуть к прочтению новых произведений.

Данное пособие будет полезно и родителям, которые занимаются со своими детьми самостоятельно, в учебные часы или дополнительно, развивая у своего ребенка соответствующие умения и навыки.

АРХИЕРЕЙ

Под вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было все, как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица — и старые, и молодые, и мужские, и женские — походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца.

А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов.

Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам...

— А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, — доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

— Маменька? Когда она приехала?

— Перед всенощной.

— Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

— Они велели, ваше преосвященство, доложить, — продолжал келейник, — что придут завтра. С ними девочка, должно внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

На другой день, в вербное воскресение, преосвященный служил обедню в городском соборе. А во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

— Уже девять лет, как мы не виделись, — говорила старуха, — а вчера в монастыре как поглядела на вас — господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели, и бородка длинней стала.

И, несмотря на ласковость, с какой она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет. Она как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми. Тогда хлопотала с детьми, теперь с внучатами и привезла вот Катю...

— У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей, — рассказывала она, — вот эта Катя самая старшая, и бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал и помер дня за три до успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

— Сколько времени мы не видались! — сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. — Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

— Благодарим вас.

— Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, все бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

— Благодарим вас.

Настроение переменилось у него както вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно.

Не мог он никак привыкнуть к страху, который он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. За все время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренне, попросту, по-человечески. Даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та!

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой. Преосвященный, слушая, чувствовал душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает!

Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать. И все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

(По А. Чехову)

АХ ТЫ, НОЧЕНЬКА

За дальней горой садится солнце. В небе ни одного облачка. Только марево у горных вершин, мягкое, бледное к середине неба, золотит голубизну, наряжает высь в призрачное сияние. Легкие, ненадоедливые блики падают на широкое плесо. И оно млеет от собственной красоты.

Рыбки безбоязненно выходят на поверхность. То в одном, то в другом месте по глади расплываются ленивые круги. Низко, почти касаясь белыми брюшками воды, проносится парочка уток. Заметив нашу лодку, утки взмывают вверх, заваливаются на правое крыло и, облетев нас, снова снижаются.

Далеко на болотах деловито курлычут журавли. Возле берега суетятся заботливые трясогузки. Одна из них присела на нос нашей лодки и с независимым видом ощипалась, встряхнула хвостиком.

Тишь! Покой и такая благодать кругом, что хочется сидеть неподвижно и слушать, слушать.

Но мы — рыбаки, и мы добросовестно, даже с азартом, хлещем по тихому плесу блеснами. Поклевок нет. Напарник мой нервничает:

— Такой плес! Такой вечер — и не берет! Тут что-то не то.

Я и сам удивляюсь не меньше его. Делаю заброс к узкой горловине, в которую сливается плес и за которой волнуется перекат.

Резкий толчок. Поклевка! Начинаю быстро подматывать лесу, рыба сопротивляется, вываливается наверх, взбурлив воду, и... сходит.

Жалко, но ничего. Теперь-то уж мы знаем, что и здесь, на тихом плесе, есть крупная рыба.

Поднимаюсь на лодке до нашего стана и снова начинаю стегать плесо справа налево, слева направо.

Пора уже разводить костер и варить уху. А уха-то ходит где-то в воде и на блесну смотреть не желает.

Вдруг рядом с пучком травы, высунувшимся из воды, что-то шлепнулось, оттуда очумело метнулась пичужка, затем расплылись дугой валы.

«Ага, кумушка пиратничает!» — отметил я и, унимая дрожь в руках, швырнул туда блесну. Всплеск! Поворот катушки — и вот она, милая, заходила, загуляла. Ага, попалась!

Я подвожу к лодке щуку, с ходу поднимаю ее на удилище, забрасываю в лодку и кричу напарнику:

— Уху поймал!

— А у меня пусто.

— Ничего, друг, не горюй, еще поймаешь!

Я поплыл кашеварить и, отталкиваясь шестом, затянул: «Сидел рыбак веселый на берегу реки...»

— Не ори ты там! — раздраженно крикнул напарник, уже перебравшийся по перекату на другую сторону протоки.

Вот и огонек разгорелся, а напарника моего все нет и нет. Я нарубил веток для подстилки. Жду, растянувшись на траве. Темнеет.

На фоне бледной зорьки проступают пики острых елей. Здесь леса сделались как бы гуще, сдвинулись плотнее. Замолкли птицы. Лишь неугомонные кулички, радуясь тихому летнему вечеру, завели свои игривые, убыстряющиеся в полете песни.

Люблю я их, длинноногих, голосистых. Они приносят с собой охотничью весну. Они своим пением подгоняют ручьи, до самых дальних гор провожают вечернюю зорьку и делают побудку среди речной пернатой армии по утрам.

Дотлела зорька. Темнота обступила костер. Вокруг него виднеются бледные пятна цветов. Эти желтые цветы на Урале и в Подмосковье называют купавками, а в Сибири — жарками, потому что в Сибири они огненно-яркого цвета и светятся в траве, что жаркие угли.

Сибирь! Родина моя! Далекое и вечно близкое детство, ночи у костра и пахнущие летом цветы жарки, и песни куликов, и звон кузнечиков, и такие же, как сейчас, мечты о томительно далеком!

Ах ты, душа рыбацкая, неугомонная и вечно молодая! Сколько запахов впитала ты в себя, сколько радостей пережила ты, сколько прекрасного, недоступного другим, влилось в тебя вместе с этими ночами, вместе с теми вон далекими, дружески подмигивающими тебе звездами!

«Ах ты, ноченька, ночка темная...»

Я забыл о своем напарнике, о рыбе, которую пора спускать в котелок, обо всем на свете. Унимаются кулички, за-

мирает все вокруг, только темная ночка слушает, как я славлю ее.

Шуршит трава, появляется мой товарищ, заглядывает в котелок и молча берет весло, на котором лежит разрезанная на куски щука. Спустив рыбу в котелок, он садится на траву и подтягивает мне.

Вдали слышен рокот мотора. Он нарастает, приближается.

— Готовьсь! — командует по-моряцки напарник, и я, похрустывая суставами, поднимаюсь с травы.

Браво насвистывая, идет моторист, который подбросил нас сюда по пути на лесоучасток. Идет он уверенно, как человек, здесь все знающий, каждую тропинку и кустик. Он сразу же возникает в свете костра, чумазый, веселый, бодрый. Вот такие они и бывают чаще всего, рыбаки — компанейские, бескорыстные ребята.

Без стеснения подсаживается он к нашему костру, чокается с нами эмалированной кружкой и провозглашает:

— За знакомство!

— За знакомство и за эту ночь, — обвожу я вокруг себя рукой.

— Правильно! — поддерживают меня друзья.

В душе мы все — поэты.

(По В. Астафьеву)

БЕДНЫЙ ФЕДЯ

В одном детском доме был мальчик по имени Федя. Это был очень грустный мальчик. Он никогда не смеялся. Не шалил. И даже не играл с ребятами. Он тихонько сидел на скамейке и о чем-то думал. И дети к нему не подходили, потому что им было неинтересно играть с таким скучным мальчиком.

И вот однажды воспитательница дала Феде книжку и сказала:

— Прочитай вслух несколько строчек из этой книги. Я хочу узнать, хорошо ли ты читаешь. Чтобы знать, в какой класс тебя зачислить.

Федя покраснел и сказал:

— Я не умею читать.

И тогда все дети удивленно на него посмотрели. А некоторые даже рассмеялись. Потому что мальчику десятый год, а он читать не умеет. Учительница спросила:

— Как же так случилось, что ты до сих пор букв не знаешь?

Федя сказал:

— Когда мне было пять лет, фашисты угнали нас в Германию. Меня и мою маму. И там мы работали на заводе. И фашисты не учили нас читать.

Тут все дети перестали смеяться. А учительница спросила Федю:

— А где же теперь твоя мама?

Печально вздохнув, Федя сказал:

— Она заболела в Германии. Но фашисты подняли ее штыками и заставили работать. И она умерла.

Однажды учительница взяла Федю за руку, привела его к доктору и сказала:

— Будьте добры, дайте этому мальчику какие-нибудь лекарства, для того чтобы он был веселый и здоровый. И чтобы он играл с ребятами, а не сидел бы молча на своей скамейке.

Женщина-врач ответила:

— Таких лекарств у нас нет. Но есть одно средство. Для того чтобы он был здоровый и веселый нужно, чтобы он засмеялся или хотя бы улыбнулся.

И вот все дети, узнав об этом, стали развлекать и смешить Федю. Они нарочно падали перед ним, чтоб он рассмеялся. Нарочно мяукали. Прыгали. И ходили на руках. Но Федя не смеялся.

Правда, он смотрел на все это, но улыбка не появлялась на его лице.

И тогда дети стали придумывать исключительные номера, чтобы рассмешить Федю. Например, один парнишка взял палку и этой палкой нарочно ударил себя по затылку. И он так звонко себя ударил, что все ребята рассмеялись. Потому что это было неожиданно и комично, что такой звон пошел.

Все ребята засмеялись. И только Федя не засмеялся. И этот мальчик, который сам себя ударил, он тоже не засмеялся. Он так больно себя хлопнул, что ему было не до смеха. Он прямо чуть не заплакал. И, потирая свой затылок, убежал.

И после этого неудачного номера ребята вот что придумали. Они смяли кусок газеты и сделали небольшой такой шарик вроде мяча. И привязали этот шарик кошке за лапку. За длинную нитку.

Кошка побежала и вдруг видит — бумажный шарик бежит за ней. Конечно, кошка бросилась к этому шарику, чтоб схватить его, но шарик, который был на нитке, ускользнул от нее.

Тут учительница сказала, что не следует так волновать животное. И тогда дети стали ловить кошку, чтоб отвязать от нее бумажный шарик. Но кошка решила сама отделаться от него. Она влезла на дерево, чтобы больше не видеть его. Но, к ее удивлению, бумажный шарик тоже полез за ней на дерево.

Это было очень комично. И все дети так смеялись, что некоторые даже попадали на траву. Но Федя и тут не засмеялся. И даже не улыбнулся. И тогда дети подумали, что он никогда не будет здоровым, раз он не умеет смеяться.

И вот однажды в детдом пришла молодая женщина, Анна Васильевна, мама одного мальчика — Гриши Светлова. Она пришла за своим сыном Гришей, чтобы взять его домой на воскресенье.

Сыночек ее очень развеселился, когда ее увидел. Он забегал и запрыгал вокруг нее. И с удовольствием стал одеваться, чтоб идти домой.

И они уже хотели уйти. Но тут Анна Васильевна увидела Федю, который сидел на скамейке и очень грустно на них смотрел. Анна Васильевна невольно подошла к нему и сказала:

— А разве ты, мальчик, не идешь сегодня домой?

Федя тихо сказал:

— У меня нет дома.

Гриша Светлов сказал своей матери:

— У него нет дома и нет мамы из-за фашистов.

И тогда Анна Васильевна сказала Феде:

— Если хочешь, мальчик, пойдем с нами.

Гриша закричал:

— Конечно, пойдем с нами. У нас дома весело, интересно. Будем играть.

И тут вдруг все увидели, что Федя улыбнулся. Он чуть-чуть улыбнулся, но все это заметили, захлопали в ладоши. И тогда Гришина мама поцеловала Федю и сказала ему:

— С этих пор ты каждое воскресенье будешь ходить к нам. И если ты хочешь, я буду твоей мамой.

Федя второй раз улыбнулся и тихо сказал:

— Да, хочу.

И тогда Анна Васильевна взяла его за руку, а другой рукой взяла за руку сына. И они втроем вышли из детдома. И с тех пор Федя каждое воскресенье ходил к ним. Он очень подружился с Гришей. И очень переменился к лучшему. Он стал веселым и довольным. И часто шутил и смеялся.

Однажды врач, увидев его таким, сказала:

— Он поправился, потому что стал смеяться. Смех приносит людям здоровье.

(По М. Зощенко)

БЕСПОКОЙНЫЙ ГОСТЬ

В низкой покривившейся избушке лесника Артема под большим темным образом сидели два человека: сам Артем, малорослый и тощий мужичонка, с старческим помятым лицом и с бородкой, растущей из шеи, и прохожий охотник, молодой рослый парень в новой кумачовой рубахе и в больших болотных сапогах.

За окном в ночных потемках шумела буря, какою обыкновенно природа разражается перед грозой. Злобно выл ветер. Глядя немигающими, словно испуганными глазами на охотника, Артем говорил:

— Не боюсь я ни волков, ни зверей разных, а боюсь человека. От зверей ты ружьем или другим каким орудием спасешься, а от злого человека нет тебе никакого спасения. Служу я, братец ты мой, тут в лесниках без малого тридцать лет, и сколько я горя от злых людей натерпелся, рассказать невозможно. Перебывало у меня тут их видимо-невидимо. Изба на просеке, дорога проезжая. Ввалится какой ни на есть злодей и, шапки не сняв, лба не перекрестив, прямо на тебя лезет: «Давай, такой-сякой, хлеба!» А у меня сам видишь, какая комплекция. Меня мизинцем зашибить можно... Ну, дашь ему хлеба, а он нажрется, развалится поперек избы — и никакой тебе благодарности. А то бывают такие, что деньги спрашивают: «Отвечай, где деньги?» А какие у меня деньги? Откуда им быть?

— Постой, — перебил охотник. — Кажется, кто-то кричит...

Охотник и лесник, не отрывая глаз от темного окна, стали слушать. Сквозь шум леса слышны были звуки, какие слышит напряженное ухо во всякую бурю, так что трудно было разобрать, люди ли это звали на помощь, или же непогода плакала в трубе. Но рванул ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донес явственный крик: «Караул!»

— Легки твои душегубы на помине! — сказал охотник, бледнея и поднимаясь. — Грабят кого-то!

— Ночь-то, ночь какая темная! — пробормотал лесник. — Время самое такое, чтоб грабить.

Охотник перекинул на плечо ружье и взялся за шапку.

— Одевайся, бери свое ружье! Эй, Флерка! — крикнул он собаке. — Флерка!

Из-под скамьи вышла собака с длинными ушами, помесь сеттера дворняжкой. Она потянулась у ног хозяина и завиляла хвостом.

— Что ж ты сидишь? — крикнул охотник на лесника. — Не пойдешь?

— Куда?

— На помощь!

Лесник молчал. Собака, вероятно услышавшая человеческий крик, жалобно залаяла.

— Пойдешь, я тебя спрашиваю? — крикнул охотник, злобно тараща глаза.

— Что пристал? — поморщился лесник. — Ступай сам!

— Э... сволочь! — проворчал охотник, поворачивая к двери.

Он позвал собаку, вышел и оставил дверь настежь. Лесник торопливо просунул толстый засов в железные петли,

потом ощупью добрался до печки, лег и укрылся с головой.

Минут через десять раздались шаги и за ними сильный стук в дверь.

— Кто там? — крикнул лесник.

— Это я, — послышался голос охотника. — Отопри!

Лесник сполз с печи, нащупал свечку, зажег ее и пошел отворять дверь. Охотник и его собака были мокры до костей.

— Что там случилось? — спросил лесник.

— Баба в телеге ехала и не на ту дорогу попала... — ответил охотник. — В овраг залезла.

— Испугалась, значит... Что ж, ты вывел ее на дорогу?

— Не желаю я тебе, подлецу этакому, отвечать. Еще тоже сторож, жалованье получает! Мерзавец этакий...

Лесник виноватой походкой поплелся к печи, крякнул и лег. Охотник сел на скамью, подумал и, мокрый, разлегся вдоль всей скамьи.

— Стало быть, тебе и горя мало, ежели бы бабу зарезали? — продолжал охотник.

Наступило молчание. Грозная туча уже прошла, и удары грома слышались издали, но дождь все еще шел.

— А ежели б, скажем, не баба, а ты «караул» кричал? — прервал молчание охотник. — Хорошо бы тебе, скоту, было, если бы никто к тебе на выручку не побежал? Встревожил ты меня своей подлостью, чтоб тебе пусто было!

Последовало довольно долгое молчание. Потом охотник сказал:

— Стало быть, у тебя деньги есть, если ты боишься людей! Бедный человек не станет бояться...

— Нету у меня денег! — прохрипел с печки Артем.

— Ну да! У подлецов всегда есть деньги... А зачем ты боишься людей? Стало быть, есть! Вот взять бы да и ограбить тебя назло, чтоб ты понимал! Вашего брата учить нужно! Сказывай, где деньги спрятаны?

Артем поджал под себя ноги и замигал глазами.

— Что ты ко мне пристал? — завизжал лесник, и крупные слезы брызнули из его глаз. — Никакого права не имеешь ты с меня деньги требовать!

Охотник поглядел на плачущее лицо Артема, поморщился потом сердито нахлобучил шапку и взялся за ружье.

— Э... глядеть на тебя противно! — процедил он сквозь зубы. — Видеть тебя не могу! Все равно мне не спать у тебя. Прощай! Эй, Флерка!

Хлопнула дверь — и беспокойный гость вышел со своей собакой... Артем запер за ним дверь, перекрестился и лег.

(По А. Чехову)

БОБРЫ

Из всех диких зверей, которых мне доводилось видеть и наблюдать, самые диковинные и умные звери, несомненно, бобры. Уже много лет назад побывал я в Лапландском заповеднике — на далеком севере нашей страны.

Я увидел лесной нетронутый край непуганых птиц, непуганого зверя. По заповеднику запросто бродили медведи, паслись стада диких оленей. По озеру плавали дикие лебеди, по лесным трущобам свистели и перепархивали рябчики.

Я поселился в маленьком домике, возле которого впадала в озеро река Верхняя Чуна. В эту реку сотрудники заповедника недавно выпустили бобров,

привезенных в клетках из воронежского бобрового заповедника. Бобры быстро освоились и со свойственным им трудолюбием начали устраивать на берегах реки свои жилища. Бродя по берегам реки Верхняя Чуна, мы находили много свежих бобровых погрызов, поваленные деревья, которые бобры у самого корня подгрызали своими острыми, крепкими зубами. Из обглоданных огрызков молодых деревьев бобры строили у воды свои высокие, скрепленные илом хатки с подземным выходом в проточную воду. На реке Верхней Чуне мне не удалось увидеть живых бобров. Я видел лишь их следы, новые хатки и поваленные ими деревья.

Уже много позднее побывал я в воронежском бобровом заповеднике. Бобры жили там на воле, в лесной реке и на ее притоках. Отловленных бобров сотрудники заповедника держали в просторных проволочных вольерах. Привыкнув к ухаживавшим за ними людям, бобры не страшились выходить днем из построенных для них деревянных хаток. Усевшись на задние лапы, держа в передних обрубки ивовых ветвей и стволов, они на наших глазах быстро, как на токарном станке, сгрызали с них зеленоватую кору.

В отдельном помещении, с устроенными у стен клетушками-загонами, жили ручные бобры. За ними ухаживали женщины, кормили их и поили. Некоторых бобров, отличавшихся кротким нравом, можно было брать в руки. Они становились совсем ручными, ходили, как собаки за своими хозяйками, называвшими бобров ласковыми именами.

Из воронежского заповедника бобров расселяют по всей нашей стране, по глухим, удобным для их поселения рекам. Сами бобры широко расселились из воронежского заповедника по окрестным местам. Нору бобров однажды нашли под насыпью железной дороги, по которой проносились скорые и товарные поезда. Парочка бобров жила под мостом, гремевшем и сотрясавшимся от проезжавших тяжелых машин.

Многим известно, что бобры умеют строить на реках высокие плотины. Они поднимают воду в реке, возводят на берегах целые поселки. В высоких, почти в рост человека, хатках ютятся семьи бобров. В каждой бобровой хатке два этажа. В верхнем этаже, на мягкой подстилке, живут бобры и их дети. Съестные припасы хранятся в нижнем этаже. Выход из хатки скрыт глубоко под водою.

В воронежском заповеднике я видел устроенную бобрами на небольшой лесной реке высокую плотину. Слепленная из речного ила, огрызков дерева и небольших бревен, плотина эта была полукруглой формы. По ее гребню, через который струилась запруженная вода, легко можно было ходить. Я изумлялся инженерному мастерству и уму бобров, построивших эту высокую плотину. Строительством плотины бобры занимались по ночам. Пугаясь людей, днем они сидели в своих закрытых хатках и глубоких норах. Строительный материал для плотины они сплавляли по воде тоже по ночам. У поваленного на берегу дерева они отгрызали сучья и ветви, разгрызали ствол дерева на небольшие обрубки и скатывали в воду.

Питаются бобры исключительно растительной пищей: болотными и луговыми растениями, водорослями, осокой, корою деревьев, растущих по берегам рек. Приготовленный на зиму корм бобры трудолюбиво сплавляют к своему жилищу.

Совсем недавно мой друг Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский, внук знаменитого географа и путешественника, много лет проживший в Лапландском заповеднике, рассказал мне такую забавную историю. Недалеко от заповедника теперь пролегает большая проезжая дорога, по которой то и дело ходят автобусы и грузовые машины. Возвращавшиеся из школы ребята увидели однажды переползавшего через дорогу бобра. Они погнались за ним, и бобер спрятался в наполненной водою глубокой придорожной канаве. Дети остановили проезжавшего мотоциклиста, просили его известить людей об их находке. Скоро из ближнего поселка пришла грузовая машина. Спрятавшегося в придорожной канаве бобра изловили, посадили в деревянный ящик и привезли в поселок. Там его некоторое время держали, пытались кормить, потом решили отправить в заповедник. В заповеднике бобра узнали: на его ухе была прикреплена металлическая бляшка. По-видимому, этот бобер пытался бежать из заповедника в поисках нового для себя места. Олег Измайлович решил выпустить бобра в знакомое озерко, где уже жил один-единственный бобер. Через некоторое время Олег Измайлович вместе со своей собакой лайкой пришел навестить знакомое озерко. Нежданно-негаданно из воды вынырнул бобер. Голова и спина его были заметно потрепаны. Очевидно, в озерке недавно происходила драка. Увидев плававшего бобра, собака с лаем бросилась в воду. Бобер как бы хотел над ней подшутить. Он сильно шлепнул по воде своим плоским хвостом, обдал брызгами голову подплывавшей собаки, нырнул и опять показался над водою. Собака вновь поплыла к бобру, и он повторил свою шутку. Эта игра с плававшей собакой продолжалась долго, и Олег Измайлович, стоя на берегу, смеялся над затеянной веселым бобром игрою.

(По И. Соколову-Микитову)

БРЕГЕТ

Однажды зимой офицеры гусарского полка собрались у ротмистра фон Ашенберга на именины. Среди прочих был в этой компании поручик Чекмарев, общий любимец и баловень. Веселый, щедрый, ловкий, красавец собою, великолепный танцор и наездник — словом, чудесный малый. Кроме того, он был очень богат и его кошелек всегда был в общем распоряжении.

Кто-то, вспомнил, что накануне граф Ольховский ездил к помещику играть в карты. Оказалось, что он выиграл полторы тысячи деньгами, каракового жеребца и золотые часы-брегет. Ольховский эти часы сейчас же и показал. Старинные часы, с резьбой, с украшениями, и если сверху надавить пуговку, то они очень мелодично прозвонят, сколько четвертей и который час. Ольховский немного заважничал.

— Это, — говорит, — очень редкая вещь. Я ее ни за что из рук не выпущу. Весьма вероятно, что подобных часов во всем свете не больше двух-трех экземпляров.

Чекмарев на это улыбнулся.

— Напрасно вы такого лестного мнения о ваших часах. Я вам могу показать совершенно такие же. Они вовсе не такая редкость, как вы думаете.

Ольховский недоверчиво покачал головой:

— Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь...

— Как вам угодно. Хотите пари?

— С удовольствием...

Вдруг есаул Сиротко ударил себя по лбу и воскликнул:

— Братцы мои! А ведь я совсем было забыл, что у меня нынче приемка обоза. Удирать надо, ребята. К восьми часам надо быть непременно. Ольховский, который час? Позвони-ка!

Ольховский стал шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном:

— Вот так штука!..

— Что такое случилось? — спросил фон Ашенберг.

— Да часов никак не найду. Сейчас только положил их около себя, когда снимал ментик. — А ну-ка, посветите, господа.

Зажгли огонь, принялись искать часы, но их не находилось. Всем почему-то сделалось неловко.

Искали около четверти часа и совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, повторял ежеминутно:

— Ах, господа, да черт с ними... да ну их к бесу, эти часы, господа...

Но ротмистр Иванов прикрикнул на него:

— Дурак! Наплевать нам на твои часы. Понимаешь ли ты, что прислуги здесь не было?

Наконец офицеры сбились с ног в поисках и сели вокруг стола в томительном молчании. Майор Кожин тоскливо обвел товарищей глазами и спросил еле слышно:

— Что же теперь делать, господа?

— Ну, уж это ваше дело, что делать, майор, — сурово сказал Иванов. — Вы между нами старший... А только часы должны непременно найтись.

Было решено, что каждый позволит себя обыскать, и все поочередно были обысканы. Остался один только Чекмарев.

— Ну, Федюша, подходи... что же ты? — подтолкнул его с суровой и грустной лаской Иванов.

Но тот стоял, плотно прислонившись к стене, бледный, с вздрагивающими губами, и не двигался с места.

— Ну, иди же, Чекмарев, — ободрял его майор Кожин. — Видишь, все подходили...

Чекмарев медленно покачал головой. Он с трудом выговорил:

— Я... себя... не позволю... обыскивать...

Ротмистр Иванов вспыхнул:

— Как, черт возьми? Пять старых офицеров позволяют себя обыскивать, а ты нет? Что же ты, лучше нас всех? Сейчас подходи, Федька, слышишь?

Но Чекмарев опять отрицательно покачал головой.

— Не пойду, — прошептал он.

Было что-то ужасное в его неподвижной позе, в мертвенном взгляде его глаз и в его напряженной улыбке.

Иванов вдруг переменил тон и заговорил таким ласковым тоном, какого никто не мог ожидать от этого грубого солдата:

— Федюша, голубчик мой, брось глупости... Ты знаешь, я тебя, как сына, люблю... Может быть, ты как-нибудь... ну, знаешь, из-за этого дурацкого пари... понимаешь, пошутил... а?

Вся кровь бросилась в лицо Чекмареву и сейчас же отхлынула назад. Губы его задергались. Он молча, с прежней страдальческой улыбкой покачал головой.

— В таком случае знаете, поручик... мы хотя и не сомневаемся в вашей чест-

ности... но, знаете... вам как-то неловко оставаться между нами...

Чекмарев пошатнулся. Казалось, он вот-вот грохнется на пол. Но он справился с собой и, поддерживая левой рукой саблю, глядя перед собой неподвижными глазами, точно лунатик, медленно прошел к двери. Офицеры безмолвно расступились, чтобы дать ему дорогу.

Фон Ашенберг позвал денщиков и приказал им убирать со стола. Все молчали, точно еще ожидали чего-то.

Вдруг денщик хозяина воскликнул:

— Часы!

Все бросились к нему. Действительно, на полу, под котелком, лежал брегет Ольховского.

— Черт его знает, — бормотал смущенный граф, — должно быть, я их как-нибудь нечаянно ногой, что ли, туда подтолкнул.

Офицеры вышли на крыльцо. Какой-то человек быстро бежал к дому. Это оказался денщик поручика Чекмарева. Солдат был без шапки и казался страшно перепуганным. Еще на ходу он закричал, еле переводя дух:

— Ваше благородие, несчастье!.. Поручик Чекмарев застрелился!

Офицеры кинулись на квартиру Чекмарева. Двери были не заперты. Чекмарев лежал на полу, боком. Весь пол был залит кровью, большой дуэльный пистолет валялся в двух шагах...

На письменном столе лежала записка, придавленная сверху золотыми часами. Брегет был, как две капли воды, похож на часы графа Ольховского. Содержание записки было таково: «Прощайте, дорогие товарищи. Клянусь богом, что я не виновен в краже. Я только потому не позволил себя обыскать, что в это время в кармане у меня находился точно такой же брегет, как и у графа Ольховского, доставшийся мне от моего покойного деда. К сожалению, не осталось никого в живых, кто мог бы это засвидетельствовать, и потому мне остается выбирать только между позором и смертью. В случае, если часы Ольховского найдутся и моя невиновность будет таким образом доказана, прошу ротмистра Иванова все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память товарищам, а самому себе оставить мой брегет».

(По А. Куприну)

БРИТВА

Недаром в полку звали его: Бритва. У этого человека лицо было лишено анфаса. Профиль был замечательный: нос острый, как угол чертежного треугольника, крепкий, как локоть, подбородок, длинные нежные ресницы, какие бывают у очень упрямых и жестоких людей. Прозывался он Иванов.

В той кличке, которую ему некогда дали, было странное ясновидение. Капитан Иванов, попав, после многих мытарств в Берлин, занялся цирюльным делом. Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской и работал отлично.

Однажды, в очень жаркое, сизое, летнее утро, оба коллеги Иванова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не бывает, отпросились на часок. Иванов, оставшись один в светлой парикмахерской, вышел на порог и стал глядеть на прохожих.

Вдруг прямо на белого Иванова свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, котел-

ке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его в парикмахерскую.

Иванов мгновенно узнал это подвижное, пухлое лицо с пронзительными глазками.

Господин молча сел перед зеркалом и, промычав что-то, постучал тупым пальцем по неопрятной щеке, что значило: бриться. Иванов, в каком-то тумане изумления, завернул его в простыню, взбил тепловатую пену в фарфоровой чашечке, кисточкой стал мазать господину щеки, круглый подбородок, и все это делал машинально — так он был потрясен встречей с этим человеком.

Теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой массе пены до глаз, а глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные колесики часового механизма. Иванов открыл бритву, и когда стал точить ее о ремень, вдруг очнулся от своего изумления и почувствовал, что этот человек в его власти.

Он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал:

— Мое почтение, товарищ. Давно ли вы из наших мест? Нет, прошу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать.

Мерцательные колесики заходили быстрее, взглянули на острый профиль Иванова, остановились.

Иванов тупым краем бритвы снял лишние хлопья пены и продолжал:

— Я вас очень хорошо помню, товарищ… Простите, вашу фамилию мне неприятно произнести. Помню, как вы допрашивали меня, в Харькове, лет шесть тому назад. Помню вашу подпись, дорогой мой... Но, как видите, я жив.

И тогда случилось следующее: глазки забегали и вдруг плотно закрылись. Человек зажмурился, как жмурился тот дикарь, который полагал, что с закрытыми глазами он невидим.

Иванов нежно водил бритвой по шуршащей, холодной щеке.

— Мы совершенно одни, товарищ. Понимаете ? Вот, не так скользнет бритва, и сразу будет много крови. Тут вот бьется сонная артерия. Много крови, очень даже много. Но до этого я хочу, чтобы лицо у вас было прилично выбрито, и кроме того хочу вам кое-что рассказать.

Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой.

— Дело вот в чем, товарищ: я все помню, отлично помню и хочу, чтобы и вы вспомнили...

И тихим голосом Иванов стал рассказывать, неторопливо брея неподвижное, откинутое назад лицо. И этот рассказ, должно быть, был очень страшен, ибо изредка его рука останавливалась и он совсем близко наклонялся к господину, который в белом саване простыни сидел, как мертвый, прикрыв выпуклые веки.

— Вот и все, — вздохнул Иванов. — Вот и весь рассказ. Как вы думаете, чем можно искупить все это? И еще подумайте: мы совершенно одни.

— Покойников всегда бреют, — продолжал Иванов, снизу вверх проводя лезвием по его натянутой шее. — Бреют и приговоренных к смертной казни. И теперь я брею вас. Вы понимаете, что сейчас будет?

Человек сидел не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах и около ушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так бледно, что Иванов подумал было,

не хватил ли его паралич, но, когда он плашмя приложил бритву к его щеке, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл.

Иванов поспешно отер ему лицо.

— Будет с вас, — сказал он спокойно. — Я доволен, можете идти.

С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть.

— Вставай, дурак! — крикнул Иванов и поднял его за рукав.

Тот застыл, с плотно закрытыми глазами, посредине зала. Иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку — и повернул его к двери. Только тогда человек двинулся, его лицо с закрытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах; как автомат, он переступил порог двери, которую Иванов держал открытой, и все той же механической походкой, сжимая вытянутой одеревеневшей рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы пустыми, как у греческих статуй, глазами, — ушел...

(По В. Набокову)

В ВОРОНЕЖЕ

Бревенчатый новостроенный царский дворец стоял за рекой, Петр там почти что и не жил: ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья, вдова царя Ивана, с дочерьми: Анной, Екатериной и Прасковьей. Туда же вповалку разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда: кругом болота, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые остовы кораблей на стапелях по берегу старого Воронежа, овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней.

Боярышни Буйносовы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка. Никто не знал, когда начнутся развлечения. Теперь по ночам у кораблей зажигали костры: работали всю ночь. Боярышни занавешивали юбками оба окошка в светелке, чтобы не просыпаться от страшных отблесков пламени...

Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнцепек, скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках: с княжной Лыковой, дурищей — поперек себя шире, даже глаза заплыли, или княжной Долгоруковой — черномазой или с восьмью княжнами Шаховскими, — эти — выводок зловредный — только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья.

Однажды во двор нагнали мужиков, в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками. Но к потехам не пробиться: то царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны Иоанновны. С ними выходил наставник, немец Иоганн Остерман, с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности, в круглых очках. Он усаживал царевен в лодочки, сам садился на расписного коня. Закрыв под очками глаза, шаркая огромными подошвами, крутился до одури.

Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурачки в кафтанах навыворот, эфиопы, черные, как сажа, два старичка шалуна в бабьей одежде, комнатные женщины, и выплывала, ве-

домая под локти со ступеней, царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стул, подушки. Царица садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парика не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом.

Иоганн Остерман подводил девочек к матери. Старшая, восьмилетняя Екатерина, была ряба, глазки у нее косили — за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Прасковью, любила — гладила по кудрявым волосикам, целовала в лобик. Средняя, Анна, будущая императрица, смугловатая угрюмая девочка с бледными губами, подходила робко, всегда позади сестер...

Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весьма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова. Одно понимала: как прежде, по старине, теперь не жить. Хотя и трудно — равняться надо по новым порядкам. Памятен остался ей девяносто восьмой год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх, царевна Софья с сестрами едва кнута миновала, царица Евдокия при живом муже сирою монашкою слезы льет в Суздале...

Прасковья недаром была родом Салтыкова — сыра, но умна, — умен был и советчик ее, управляющий и дворецкий, родной брат Василий. Они понимали, что Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись: иноземные послы, именитые иноземцы взыскательны, не всякого потащишь на Кукуй к Монсихе... Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах, с глаз ее убирали, когда надо. За все это Петр Алексеевич царицу Прасковью любил и жаловал.

Поскучав на солнцепеке, Прасковья Федоровна удалялась с дочерьми и челядью. Буйносовы девы садились на карусель, приказывали мужикам вертеть шибче. Тихо визжали. Издалека доносились пушечные выстрелы да крики мужиков, поднимающих мачту где-нибудь на корабле.

Однажды в полдень во двор верхом въехал Петр, худой, загорелые щеки свеже выбриты. Соскочил с коня и побежал наверх к царице Прасковье.

Минуты не прошло — всему дворцу стало известно: завтра утром спуск корабля, и начинаются празднества.

(По А. Толстому)

В ДЕРЕВНЕ

Бабы с песней приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении радости жизни. Когда народ с песней скрылся из вида, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою праздность, за свою враждебность к этому миру охватило Левина.

Те самые мужики, которые спорили с ним из-за сена, которые хотели его обмануть и которых он обидел, теперь весело кланялись барину.

Было очевидно, что они не держали на него зла и не раскаивались сами. Не осталось даже воспоминания о ссоре. Все это потонуло в море веселого общего труда.

Левин часто любовался крестьянской жизнью, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью, но нынче Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую жизнь.

Народ весь разделился. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ужину и ночлегу на лугу. Левин, не замечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать на лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смех.

Перед утреннею зарей все затихло. Очнувшись, Левин встал с копны и, оглядев звезды, понял, что прошла ночь.

«Ну, так что же я сделаю? Как я сделаю это?» — сказал он себе, стараясь выразить для самого себя все то, что он передумал и перечувствовал в эту короткую ночь. Все, что он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельных хода мысли. Один — это было отречение от своей старой жизни. Это отречение доставляло ему наслаждение и было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которою он желал жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось.

«Жениться на крестьянке?» — опять спрашивал он себя и не находил ответа. «Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного отчета. Я уясню после.

Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок, и стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой.

Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. «Это что? Кто-то едет», — подумал он, услыхав бубенцы, и поднял голову. В сорока шагах от него, ему навстречу, по той большой дороге, по которой он шел, ехала четверней карета. Левин рассеянно взглянул на карету.

В карете дремала в углу старушка, а у окна, видимо только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной внутренней, чуждой Левину жизни, она смотрела на зарю восхода.

В то самое мгновение, как виденье это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, удивление и радость осветили ее лицо.

Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушово со станции железной дороги, И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были приняты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты о женитьбе на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь

мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни.

Она не выглянула больше. Звук рессор перестал быть слышен, чуть слышны стали бубенчики. Лай собак показал, что карета проехала и деревню. Остались вокруг пустые поля, деревня впереди и он сам, одинокий и чужой всему, одиноко идущий по заброшенной большой дороге.

Он взглянул на небо. Небо поголубело и просияло. Оно с тою же нежностью, но и с тою же недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд.

«Нет, — сказал он себе, — как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю Кити».

(По Л. Толстому)

В ДОМЕ ШУМИНЫХ

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка. Отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой. Возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Надя мечтала о замужестве, и теперь наконец она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце; это Александр Тимофеич, или, попросту, Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаянием ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и окончил архитектурное отделение, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге 3

Изложения 10—11 классы 5